

ЕВА ЗИМИНА

СТЕКЛЯННАЯ
НЕВЕСТА
ДЛЯ ДРАКОНА
ПЕСКОВ

Ева Зимина

**Стеклянная невеста
для дракона песков**

«Автор»

2026

Зими́на Е.

Стеклянная невеста для дракона песков / Е. Зимина — «Автор»,
2026

Меня зовут Кенна, я водоноска, и я знаю цену всему: глоток — медяк, кувшин — день жизни, правда — дороже воды. В моём краю воду продаёт цех, а платят за неё клятвами у мерной чаши. Я умею то, о чём молчу с детства: слышу воду под песком, и вода при мне не терпит лжи. За краденую воду меня везут на суд к стеклянному лорду. Тамир Сарран — песчаный дракон, у которого правая рука уже звенит стеклом: без истинной пары драконы его рода спекаются заживо. Его приговор ошеломляет всех: «Я беру её в жёны. По расчёту». Двенадцать пунктов в брачном контракте — и один мой: в доме не лгать. Но Солнечная Капля, древнее стекло, что веками судило Пески правдой, три года черна и молчит, а край шепчется, что новая жена лорда — ведьма колодцев. Я знаю цену всему. Скоро узнаю и цену правды: её нельзя купить — её можно только отдать. Даром. При всех. И тогда стекло заговорит.

© Зимина Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Полная мера	5
Глава 2. Суд по бумаге	10
Глава 3. Двенадцать пунктов и один мой	15
Глава 4. Чёрное солнце	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Ева Зими́на

Стеклянная невеста для дракона песков

Глава 1. Полная мера

Меня зовут Кенна, и я знаю цену всему: глоток — медяк, кувшин — день жизни, правда — дороже воды.

Так говорил мой отец, а отец мой был колодезник, и в цене воды он не ошибся ни разу. В цене правды — один раз. Этого раза хватило, чтобы я осталась без отца.

В то утро очередь к мерной чаше выстроилась ещё до света. Слобода Донце просыпается раньше солнца — не потому, что мы такие работающие, а потому, что кто пришёл к чаше после жары, тот пьёт горячее и мутное. Я стояла двадцать третьей, с двумя кувшинами и бочонком на тележке, и считала спины. Двадцать две спины, все знакомые. У Марты-вдовы спина согнута коромыслом, у старейшины Бахира — прямая, но это ему дорого обходится. Спину не обманешь. Спина всегда говорит правду о том, сколько человек недопил.

Мерная чаша цеха стоит у нас посреди слободы, как единственный храм. Медный стол, стеклянный колпак, весы. Под колпаком — чаша с делениями: кому сколько отпущено по спискам цеха. Рядом — стеклянная табличка на столбе, а на табличке выцарапаны наши имена и наши долги. Имя моего отца с таблички соскоблили три года назад. Долг оставили. Долги у цеха живут дольше людей — они у них вместо детей, цех их растит, кормит и в люди выводит.

— Мера полна, — сказала впереди Марта-вдова, когда мерщик наполнил её кувшин на два пальца ниже кромки.

Она сказала это громко, положив ладонь на край чаши, как велит цеховой устав: получил воду — поклянись, что мера полна и претензий не имеешь. Без клятвы воду не отпускают. Клятва у цеха вместо расписки.

Я стояла в трёх шагах и смотрела, как в моих кувшинах — пустых, только на донце вчерашний остаток — вода пошла мутью. Тонкой, серой, как если бы кто-тодохнул пеплом в колодец.

Никто, кроме меня, этой мути не видит. Я проверяла всю жизнь, осторожно, как проверяют лёд на чужом слове. Вода мутнеет при мне, когда рядом лгут. Горчит, если ложь большая. Отстаивается, если человек потом жалеет. Отец знал про меня и научил трём вещам: молчать, не подходить к цеховым чашам без нужды и никогда не путать лгуна с тем, кого заставили лгать.

Марта не лгунья. Марта — вдова с тремя внуками, и если она скажет «мера неполна», ей завтра отпустят полмеры, а послезавтра — четверть, и всё по спискам, всё по уставу, попробуй подкопайся. Жажда — терпеливый учитель. Она быстро объясняет, какая правда тебе по карману.

— Мера полна, — сказал за Мартой кузнец Одда, глядя, как вода не доходит до его деления на три пальца.

Муть в моих кувшинах стала гуще.

— Мера полна, — сказала девочка Ясма, которой цех отпускает полдетской меры, потому что Ясма родилась должницей.

Это у цеха так заведено: долг записывается на семью, а семья — это и те, кто ещё не родился. Ясма девять. Её долг старше её на четыре года. Она сирота, живёт у меня, таскает мой второй кувшин и поёт воде. Про песню я скажу позже. Про песню вообще лучше говорить шёпотом.

Пока очередь ползла, старейшина Бахир встал рядом со мной — будто бы размять поясницу. Бахир умеет разговаривать, не разговаривая: смотрит на столб с табличкой и говорит столбу.

— В Сухом Логе вчера чашу урезали на треть, — сообщил он столбу. — А в Медянке колодец испортился. Третий за лето. Лис, говорят, дохлый в стволе. Странные нынче лисы: воду находят лучше колодезников и мрут кучно, где цеху надо ставить новую чашу.

— Лисы — зверьё умное, — ответила я столбу. — Куда цех, туда и они.

— Ты бы, дочка, шла нынче тихо, — сказал Бахир уже мне, в четверть голоса. — По слободам шепчут про ведьму, что колодцы портит. Пока без имени шепчут. Но шёпот — он как вода: сверху пускают, снизу пьют.

Я кивнула. Про ведьму я слышала. Шёпот этот полз уже с месяц, аккуратный такой, ухоженный шёпот — из тех, что сами не рождаются. У самородного слуха ноги короткие, он до третьей слободы не доходит. А этот шагал, как караван по расписанию.

Когда подошла моя очередь, мерщик Виск посмотрел в списки, потом на меня, потом опять в списки, будто надеялся, что я между двумя взглядами исчезну.

— Кенна, дочь Йорама. Мера — кувшин и треть.

— У меня два кувшина и бочонок.

— А у меня список, — сказал Виск. — Кувшин и треть на двор. Долг за двором — девять серебром. Пока долг висит, мера урезана. Устав.

— Долг не мой, а отцовский.

— Долг двора, — поправил Виск, не глядя. Он не злой, Виск. Он просто давно выбрал, чьи слова повторять, и с тех пор у него всегда полная мера. — Клади руку, клянись.

Я положила ладонь на край чаши. Медь была тёплая, как лоб больного.

— Вода получена, — сказала я. — По списку.

Виск поднял глаза. В уставе написано: «мера полна и претензий не имею». «По списку» в уставе не написано. Но и ложью это не было, а придаться к правде трудней, чем кажется, — на этом я держусь уже который год.

— Однажды ты договоришься, дочь Йорама, — сказал Виск тихо.

— Однажды все договорятся, — согласилась я и забрала свой кувшин и треть.

Вода в кувшине стояла чистая. При мне — всегда чистая, если я не вру. Такое уж у меня хозяйство.

До полудня я развезла воду тем, кто сам к чаше не дойдёт: старику Ремте с высохшими ногами, роженице Альме, близнецам вдовы Марты, пока та стояла за хлебом. Официально это называется «водоноска». Неофициально — я делю кувшин и треть на восьмерых, и если вы спросите, как это возможно, я отвечу: никак. Это невозможно. Поэтому дальше начинается та часть моего ремесла, за которую в Стекланных песках выцарапывают имя с таблички.

Ночью я хожу слушать песок.

Слушать песок меня тоже выучил отец, только он для этого спускался в стволы, а мне ствол не нужен. Я ложусь щекой на остывший бархан, закрываю глаза, и где-то под слоями — на два роста, на десять, на сорок — вода отзывается. У живой воды голос как у спящего ребёнка: ровное дыхание, изредка бормотание. У мёртвой, запертой, отравленной — хрип. Я иду по дыханию, как идут по следу, и там, где оно ближе всего к коже песков, я ставлю тростниковую иглу — тонкую трубку с костяным носиком, отцовской работы. Песок сам выжимает воду в иглу, по капле, по глотку. За ночь набегают бочонок.

Цех называет это водяным воровством. Я называю это милостыней, которую пески подают своим людям мимо цеховой чаши. Мы с песками договорились не спорить о словах.

Отец мой за такую милостыню заплатил всем, что имел, включая жизнь. Когда цех насчитал на наш двор девять серебром — за иглу, за самовольную меру, за «порчу общинного пласта», — отцу предложили выбор, который у цеха называется милосердием: отработать. И

послали его в старый ствол за Медянкой, гнилой, тридцать лет как брошенный, — проверить, не осталось ли жилы. Колодезники не спускаются в гнилые стволы в одиночку, это первое правило ремесла. Отца спустили одного: устав, дитя, за долг работают лично. Стенка пошла на четвёртой сажени. Мне выдали его пояс, флягу и бумагу, что цех претензий к покойному не имеет. Претензий не имеет. Я эту бумагу храню. Пусть лежит: бумага у цеха вместо совести, а совесть, глядишь, когда-нибудь и предъявят к оплате.

В ту ночь я взяла Ясму — у неё слух лучше моего, только дикий, неучёный. Мы ушли за третий бархан от слободы, туда, где старое русло помнит себя. Луна лежала на песке, как соль на хлебе. Я легла щекой, послушала. Дыхание было близко, на четыре роста, чистое.

— Тут, — сказала Ясма раньше меня и села на корточки. — Можно я?

— Тихо только.

Она запела. Я не знаю, откуда в ней это. Песня у неё без слов, на два тона, вверх-вниз, как ведро на воротах ходит. И вода на эту песню идёт быстрее — я своими глазами видела, как костяной носик, которому положено плакать по капле, начинает частить, торопиться, как сердце. Дар это, и дар дикий, нигде не записанный, и я держу его в такой же тайне, как свой. В империи, говорят, за морем, диких одарённых теперь берут под крыло, учат, кормят, называют хранителями. Говорят. За Жарким морем много чего говорят. А у нас цех, и у цеха на Ясму список, и в списке Ясма — должница с рождения.

Мы набрали бочонок и семь фляг. Флягу отца я наполнила последней — она у меня мерная, с клеймом «правая мера» на боку: отец сам чеканил, когда цех ещё позволял колодезникам свои меры. Из неё я не продаю. Из неё я даю пить тем, кто уже не верит, что бывает полный глоток.

На обратной дороге Ясма спросила:

Перед тем мы посидели на гребне — отдышаться. Ночь в песках короткая, но щедрая: жара уходит, и слышно всё на десять вёрст. Далеко на юге, у Чёрного бархана, стояло красноватое зарево — стеклоvarни цеха работали и ночью. Там плавят песок в листы и посуду и там же отрабатывают долги те, кому не повезло. Ветер оттуда приносит запах — жжёный, сладковатый, с горчиной. Ясма от этого запаха всегда подбегает, как зверёк. Её мать умерла на стеклоvarнях. Долг, который Ясма таскает с рождения, — это счёт за материнскую похоронную корзину. Цех аккуратен: даже смерть у него отпускается в долг.

— Кенна, а правда, что Капля раньше светила?

— Правда.

— И что при ней нельзя было соврать даже цеху?

— При ней никому нельзя было соврать. На то она и Капля.

— А почему она почернела?

Я не ответила. Над барханами уже прорезалась крепость Саррат — высокая, витая, выращенная из оплавленного песка, и предрассветный свет стекал по ней, как по бутылочному горлу. Три года назад под этой крепостью, в гроте, почернела Солнечная Капля — судья нашего края, стеклянное сердце песков. Почернела за одну ночь, без грома и знака. И с той же ночи всё покатилося, как бочка с бархана: старый лорд Раван спёкся в стекло за год; молодой лорд заперся в крепости, и о нём говорят шёпотом, что он спекается тоже; суды пошли по бумаге, а бумага у нас вся цеховая; и мера воды с тех пор худеет каждую весну, а цена растёт каждое лето. Караваны, что идут через пески, платят за воду вдвое против прежнего и ругаются на семи языках. Цех разводит сухими ладонями: засуха, дитя, у всех засуха.

Я писала об этом письмо — одно, длинное, полгода назад, с оказией через Синь-пристань, самой Эльде Гранн, хранителю камня-истины, о которой рассказывал заезжий огранщик. Писала и не верила, что дойдёт: где Гранёный кряж, а где мы. «Наша Капля черна третий год, — писала я. — С ней сделали что-то хуже, чем если бы её разбили или украли. Разбитое

жалеют, украденное ищут. А нашу все обходят, как дурную больную, и делают вид, что так и было».

Ответа я не получила. Пока не получила — так я себе говорила.

До слободы оставалось полбархана, когда Ясма встала как вкопанная.

— Кенна. Чужие.

У моей тростниковой иглы, воткнутой с вечера у старого русла — я оставила её донабрать, — стояли четверо. Трое цеховых стражников с фонарём. И четвёртый, в сером дорожном, без фонаря, — он в фонаре не нуждался, он стоял так, будто темнота обязана расступаться сама. Я узнала его раньше, чем разглядела лицо. По рукам. Руки у него были холёные, ухоженные, с чистыми ногтями, — руки, которые никогда не тянули ворот и не латали бурдюк. В песках такие руки одни на сто вёрст, и принадлежат они мерщику Халуму, первому человеку госпожи Иргены Сольт, старшины цеха воды и стекла.

— Игла, — сказал Халум, не здороваясь, и покачал мою трубку в холёных пальцах. — Тростник, кость. Тонкая работа. Йорамова школа.

— Ясма, домой, — сказала я тихо. — Бегом.

Она не побежала. Она вцепилась в мой рукав, и я почувствовала, как у неё колотится сердце — часто, как костяной носик над живой водой.

— Водяное воровство, — сказал Халум с удовольствием, как пробуют на язык сладкое. — Ночной отбор из общинного пласта, минуя мерную чашу. Устав цеха, лист девятый. Взять.

Стражники шагнули. Я успела сделать единственное, что имело смысл: сдёрнула с плеча отцовскую флягу и сунула Ясме.

— Отнеси Ремте. Скажи — я велела пить до дна.

Потом мне завернули локти назад, и стало не до распоряжений.

Вели меня не в цеховую управу, как я ждала. У цеховой расправы порядок короткий: столб, табличка, соскоблённое имя, отработки на стекловарнях у Чёрного бархана — оттуда возвращаются лет через пять, если возвращаются, с ожогами до локтей и с кашлем, который не лечится. Я шла и считала, сколько лет отработок мне выпишут за иглу, за бочонок и за семь фляг, и получалось у меня до старости.

Но у развилки, где дорога расходится на цеховую управу и на оазис Семь Ключей, конвой повернул к оазису. К крепости.

Дорога к Семи Ключам идёт вдоль цехового канала — единственной открытой воды на весь край. Вода в канале с рассвета до заката идёт под стеклянными крышками, чтобы не испарялась, и через каждые сто шагов стоит чаша с табличкой и стражник при ней. Мы шли, и я смотрела, как у третьей чаши поят караван — верблюды, тюки с крашеной шерстью, чужие лица, обмотанные от песка. Караванщик расплачивался и бранился на своём языке, а толмач переводил вежливо: господин говорит, что в прошлые годы платил вдвое меньше. Мерщик при чаше отвечал заученно: засуха, почтенный, у всех засуха. Вода в чаше, я видела, стояла мутная. Мерщик в засуху не верил сам.

— Не туда повернули, — сказала я. — Управа левее.

— Помолчи, — отозвался старший стражник беззлобно.

Халум обернулся. В сером рассветном свете лицо у него было гладкое и довольное, как налитая чаша.

— Тебе выпала честь, дочь Йорама, — сказал он. — Госпожа старшина сочла твоё дело важным. Водяное воровство в год засухи — это против всего края. А всех, кто против края, нынче судит его светлость лично. Сам стеклянный лорд.

Стражники переглянулись. Я видела такие переглядки — так смотрят люди, когда при них поминают того, кого боятся заочно.

— Говорят, — добавил Халум, понизив голос ласково, будто делился гостинцем, — правая рука у его светлости уже звенит. Стекло по жилам поднялось выше локтя. Год ему остался, много — два. Злой нынче лорд, торопливый. Как раз на воровок.

Впереди, над пальмами Семи Ключей, крепость Саррат поймала первое солнце и вспыхнула по граням — вся, кроме окон. Окна остались тёмными.

Я шла к ней, связанная, оставив дома девчонку с чужой флягой и восьмерых, кому завтра никто не привезёт воды, и думала не о себе. Думала я о том, что сказал бы отец. Отец сказал бы: правда дороже воды, Кенна, но плати вперёд только за воду. Правду в этом краю в долг не отпускают.

На первом дворе крепости пахло странно — не дымом и не конюшной, а горячим стеклом, как у печи стеклодува. Меня поставили у стены, среди утренних просителей, и я успела увидеть, как через двор прошёл высокий человек в тёмном, без свиты, и как просители подались назад единой волной. Правую руку он держал в перчатке. И походка у него была такая, будто он несёт внутри себя сосуд, полный до кромки, и знает: расплещет — не соберёт.

— Суд с полудня, — объявили со ступеней. — Его светлость судит сам.

У стены со мной ждали суда ещё двое: угрюмый малый, укравший у цеха бурдюк, и старуха, не заплатившая за похоронную меру. Просители пошептались, и до меня долетело всякое. Что совет песков требует от лорда жениться до солнцеворота — краю нужен наследник, пока лорд не остекленел вовсе. Что цех сватает ему племянницу старшины, красавицу Тальму, а за ней приданым — четверть всех колодцев. Что лорд смотрины назначил и отменил, и снова назначил. Что по ночам в крепости звенит — тонко, как бокал о бокал, — и это, шептались, звенит сам лорд. Я слушала и думала: край сватает утопающему камень. Хороший камень, дорогой, с четвертью колодцев. Камни в приданое здесь умеют подбирать.

Вот так я, Кенна, дочь Йорама, водоноска из слободы Донце, попала в Саррат — не с прошением, как мечтала дура-девчонка во мне, а с верёвкой на локтях, как обещала жизнь. До полудня оставалось четыре часа.

Четыре часа — это много. За четыре часа можно развезти воду половине слободы. Можно найти жилу и поставить иглу. Можно, как выяснилось, двадцать раз перебрать в голове всё, что у тебя есть на свете, и сосчитать: девчонка с диким даром, восемь стариков и больных на моих кувшинах, отцовская фляга с клеймом «правая мера», недоплаканный долг в девять серебром и одна тайна, за которую в лучшем случае вписывают в должники, а в худшем — в списки построже цеховых. Небогато. Зато всё моё, без описи. Я стояла у стены, смотрела на тёмные окна крепости, под которой третий год слепла Солнечная Капля, и в поилке для просительских ослов, у самых моих ног, вода вдруг помутнела — тонко, серо, по-знакомому.

Где-то совсем рядом кто-то лгал. Спокойно, привычно, с утра пораньше. И пески пили эту ложь, как пьют всё, что им наливают.

Глава 2. Суд по бумаге

Судный зал Саррата выстроен над гротом — это знают все, и все об этом молчат, как молчат в доме о покойнике, который ещё дышит.

Зал круглый, стены из оплавленного песка, и свет входит сверху, через прорезь в куполе, широким косым столбом. Раньше — рассказывал отец — в дни суда снизу, из грота, поднимали на цепях Солнечную Каплю, и она висела в этом столбе света, пила солнце и судила: чернела на лжи, разгоралась на правде. При Капле не нужны были ни писцы, ни свидетели, ни пытошные. Нужна была только смелость говорить.

Теперь посреди зала стоял стол, а на столе лежали бумаги. Много бумаг. Когда суд слепнет, у него отрастают бумаги.

Я была в этом зале один раз в жизни, девочкой. Отец судился с соседом о меже старого ствола и взял меня — смотреть, как судят пески. Каплю подняли из грота на трёх цепях, и она висела в столбе света: с моё сердце величиной, золотая, живая, и внутри неё ходило солнце, как желток в яйце. Сосед начал говорить — и говорил складно, куда складнее отца, — и на середине его складной речи Капля потемнела, спокойно и страшно, как темнеет вода перед бурей. Сосед осёкся, посерел и сознался сам, раньше, чем судья открыл рот. А когда говорил отец, Капля разгорелась так, что у людей в первом ряду заслезились глаза. Я запомнила на всю жизнь: правда — это свет, который нельзя наговорить. Его можно только не заслонять.

Ещё я запомнила, как нас с отцом провожали от крепости взгляды цеховых мерщиков. Уже тогда цех не любил суда Капли. При ней не работали ни списки, ни складные речи, ни тёплые лица. При ней вода стоила столько, сколько стоила вода.

Нас, подсудных, поставили у стены: меня, малого с бурдюком и старуху с похоронным долгом. Народу набилось — полслободы и полцеха: суды у лорда шли второй месяц, и на них ходили, как на зрелище. По правую руку от стола, на скамьях, сидел цех: мерщики в сером, сотник цеховой стражи Дарг с лицом, похожим на кулак. И отдельно, в кресле с подушкой, — женщина, при виде которой зал сам собой становился тише.

Госпожу Иргену Сольт я до того дня видела дважды, обе — издали. Вблизи она оказалась меньше, чем её тень над краем. Немолодая, сухая, опрятная, в сером шёлке без единого камня, с гладкими седыми волосами. На пальце — единственный перстень: маленькая чаша из мутного стекла. Лицо доброе. Я не оговорила — по-настоящему доброе, тёплое, из тех лиц, к которым несут больных детей и последние деньги. На это лицо работал целый край. Смотришь — и хочется верить, что мера полна.

А у ослиной поилки на дворе, вспомнила я, вода мутнела с самого утра.

— Его светлость лорд Тамир, дома Сарран, владыка Стеклянных песков, — объявили от дверей.

Он вошёл без свиты, как через двор шёл: высокий, тёмный, с правой рукой в перчатке. Вблизи стало видно то, чего не разглядишь издали. Он был молод — тридцать, не больше, — и красив той неудобной красотой, о которой говорят «лучше бы попроще»: скулы, тяжёлые прямые брови, глаза цвета зелёного бутылочного стекла. Только под этой красотой, глубже кожи, стояла такая усталость, что смотреть было тяжело, как в пересохший колодец. Люди с такой усталостью не живут долго. Люди с такой усталостью досуживают, довоёвывают, доделывают — и уходят.

Он сел за стол с бумагами. Прорезь купола положила столб света в трёх шагах от него — пустой столб, без Капли. Лорд на этот свет не взглянул ни разу за весь суд. Так не смотрят в сторону, где у тебя болит.

Первым судили малого с бурдюком. Цеховой писец зачитал: украл, сознался, цена бурдюка с водой — полсеребра. Лорд спросил: зачем крал? Малый забубнил: сестра на сносях, мера урезана. Лорд полистал списки, нашёл, кивнул: цена бурдюка — в отработку при крепостных конюшнях, месяц; сестре — вернуть полную меру до родов, за счёт дома Сарран. Цеховые скамьи заскрипели. Иргена Сольт улыбнулась тепло и записала что-то маленькое в маленькую книжечку.

Сотник Дарг при этом приговоре шевельнулся, будто хотел возразить, и посмотрел на Иргену. Та не посмотрела в ответ — ей не нужно было. У хорошо выученной стражи поводок держат не глазами.

Вторую судили старуху. Долг за похоронную меру мужа — серебро и два медяка. Лорд закрыл списки и сказал, что долги по похоронным мерам дом Сарран выкупает с нынешнего дня все, по всему краю, и что о цене договорится с цехом отдельно. Зал выдохнул. Иргена Сольт улыбнулась ещё теплее и записала что-то ещё. Я смотрела на её перстень-чашу и думала: она не проигрывает. Она отпускает лорду верёвку — беги, дитя, беги, выкупай, трать казну дома, которой осталось на два лета. Верёвка длинная. Хватит и на разбег, и на петлю.

Старуха, не поняв сперва, кланялась и всё пыталась поцеловать лорду перчатку, и её мягко отвели. Я смотрела ей вслед и считала. Похоронных долгов по краю — сотни. Цена каждого — серебро, два, три. Дом Сарран будет выкупать их по цеховой цене, потому что другой цены в крае нет: цена тоже цеховая, как и вода, как и бумага, как и молва. Щедрость здесь стоит дорого, и продаёт её тот же прилавок.

— Кенна, дочь Йорама, слобода Донце, — прочитал писец. — Водяное воровство. Ночной отбор из общинного пласта мимо мерной чаши, тростниковой иглой, доказано: игла, бочонок, семь фляг. По уставу цеха, лист девятый, — сухая чаша и отработки на стекловарнях сроком по возмещению.

Меня вывели на середину, в шаг от пустого столба света. Вблизи он был тёплый. Я стояла в этом тепле и слушала, как за спиной шелестит зал: ведьма, вон та самая, с Донца, слышали же — колодцы.

Свидетелем по моему делу вышел Халум. Он говорил гладко, как по-писаному, и руки держал перед собой, ладонь в ладони, как держат дорогую вещь: игла тростниковая с костяным носиком, работа покойного Йорама; бочонок в две меры; семь фляг; отбор ночной, тайный, из общинного пласта; при задержании не отпиралась. Всё было правдой, и я кивала. Он дошёл до последнего листа и добавил, не меняя голоса:

— Также по слободам ходит молва, ваша светлость, о порче колодцев в Медянке и Сухом Логе. Цех молву не поощряет. Но обязан довести: порча началась той же весной, когда задержанная расширила свой ночной промысел.

Вот так это делается, если кто не знал. Не обвинение — «молва». Не ложь — соседство двух правд, сшитых белой ниткой так, чтобы шов увидели все и никто не смог предъявить портному. Я открыла рот — и закрыла. Против «молвы» нет ответа, она без имени и без спины, её не поставишь к чаше.

Пока Халум говорил, я следила за судейской чашей — по привычке, как следят за небом. Вода стояла чистая. Он не солгал ни словом: и игла была, и бочонок был, и молва — вот она, ходит. Мне стало холодно в жарком зале. Человек, который умеет топить чужими правдами, опаснее десяти лгунов: лгуна вода выдаст, а этого — нет. Такому и Капля не страшна... Мысль запнулась на середине, как нога о порог, и я её запомнила — запнувшиеся мысли самые дельные. Капля. Правда. Ложь по принуждению. Что-то тут лежало на дне, глубоко, я слышала это, как слышу воду под сорока саженьями песка: дыхание есть, а достать нечем.

— Сколько лет? — спросил лорд, не поднимая глаз от списков.

— Двадцать два, ваша светлость.

— Я спрашиваю, сколько лет ты берёшь воду иглой.

Врать при нём мне было нельзя — не из благородства, а из ремесла: я знала, как мутнеет вода, и не хотела проверять, что в этом зале умеет мутнеть. Молчать тоже было нельзя. Я выбрала то, что выбираю всегда, — правду с недоливом.

— Сколько себя помню, столько при воде.

— Отец учил?

— Отец учил меня мерить, ваша светлость. Мера — это когда никто не уходит от воды пустым. Устав говорит — мера это то, что в списке. Мы с уставом расходимся в словах.

— Ты дерзишь суду.

— Я отвечаю суду. Дерзить я не могу себе позволить: дерзость нынче дорога, а у меня долг в девять серебром.

По залу прошёл смешок — короткий, тут же прижатый. Лорд не улыбнулся, но что-то у него в лице сдвинулось, как сдвигается заслонка у фонаря.

— Она уходит от ответа, ваша светлость, — мягко сказала Иргена Сольт со своей скамьи, и голос у неё был как её лицо: тёплый, домашний. — Дитя выросло без матери, я знаю эту семью, отец — покойный Йорам, хороший был мастер, но самовольный. Порода такая, самовольная. Цех девять лет терпел этот двор, ваша светлость. Мы не звери — мы просим лишь порядка: пласт общий, мера одна на всех. Сегодня она берёт иглой, завтра каждый возьмёт, послезавтра пласт осядет — и пить будет нечего всем. Устав писан не жадностью, а засухой.

Зал закивал. Складно. Она всегда говорила складно — и, что хуже всего, наполовину правду: пласт правда общий, и мера правда одна. Только полуправда — это как полмеры: на бумаге вода, в горле песок.

— За воду, взятую иглой, платили? — спросил лорд.

— Никогда, — сказала я. — Я её раздавала. Больным и тем, кто до чаши не дойдёт.

— Кому? Имена.

Вот тут я замолчала по-настоящему. Имена — это Ремта, Альма, близнецы Марты. Имена — это готовые ответчики цеху: принимали ворованное. Я подняла глаза на лорда и сказала:

— Не помню.

И увидела, как он на меня посмотрел. Не как на воровку и не как на дуру — как на задачу, которая вдруг перестала сходиться с ответом в конце книжки. Потому что в зале, я почувствовала это раньше, чем увидела, что-то произошло. По рядам пошёл шепоток, писец привстал. На столе перед лордом стояла судейская чаша — простая, с водой, её ставят по старой памяти, с тех времён, когда суды шли при Капле. И вода в этой чаше, когда я сказала «не помню», помутнела.

Я лгала. Вода при мне сказала об этом всем, у кого были глаза.

Дальше случились две вещи сразу, и я до сих пор не знаю, которая из них решила мою судьбу.

Первая: Иргена Сольт перестала улыбаться. На полвдоха, не дольше, но я стояла удачно и видела — тёплое лицо погасло, как прикрытая ставня, и из-под него глянуло другое, внимательное, счётное. Она смотрела не на меня. Она смотрела на чашу.

Вторая: лорд Тамир снял левой рукой перчатку с правой.

Зал ахнул тихонько, на вдохе. Кисть у него была — как из зелёного дымчатого стекла: живая, подвижная, но прозрачная до костей, и в глубине, по жилам, шли тонкие светлые нити, как трещины во льду. Он положил эту стеклянную руку на край судейской чаши — я стояла в двух шагах и слышала, как стекло тонко тенькнуло о медь.

И рука его на моих глазах потеплела. Не цветом — светом: по стеклянным жилам, от чаши, где стояла моя муть, вверх к запястью прошла слабая янтарная волна, как первый глоток по пересохшему горлу. Он почувствовал её тоже. Я увидела это по тому, как он замер — весь, как замирает колодезник, услышав под гнилой стенкой голос живой воды.

Лорд смотрел на свою руку. Потом на чашу. Потом на меня. Глаза у него были уже не усталые.

— Подсудная лжёт суду, — продолжала между тем Иргена, и голос её опять был тёплым, только теперь я слышала под теплом ход весов. — Укрывает сообщников. Ваша светлость, устав в таких случаях ясен: сухая чаша...

— Устав цеха — не устав дома Сарран, — сказал лорд, не поворачиваясь к ней.

— Дом Сарран три года судит без Капли, — вздохнула Иргена с материнской печалью. — И мы все смиренно молчим об этом горе. Но именно потому, ваша светлость, бумага — всё, что у края осталось. Не гневайтесь на бумагу.

Она умела бить. «Три года без Капли» — это было в лицо, при всех, мягко, с печалью, безнаказанно. Столб света стоял пустой, и все смотрели, как лорд молчит. Стекла́нная кисть на краю чаши сжалась — медь скрипнула.

— По уставу, — сказал лорд наконец, — сухая чаша и стеклоvarни. Так?

— Так, дитя моё, — сказала Иргена ласково. Она уже выиграла и могла позволить себе «дитя».

— В уставе цеха, лист двенадцатый, — сказал лорд, — написано также: подсудная, чья вина не смыта, может быть выдана на поруки дому, если дом берёт её долг и её саму под свою руку и свой ответ.

— На поруки, — повторила Иргена. По залу пошло недоумение. — Дом Сарран желает взять на поруки водяную воровку?

— Нет, — сказал лорд Тами́р и надел перчатку. — Дом Сарран желает взять её в жёны.

Сначала стало очень тихо. Потом стало очень громко. Я стояла в пустом столбе света, тепло лежало у меня на макушке, как отцовская ладонь, и я, кажется, единственная во всём зале расслышала, что он сказал дальше, потому что сказал он это мне, вполголоса, наклонившись над судейской чашей:

— По расчёту, дочь Йорама. Исключительно по расчёту. У тебя будет время назвать свою цену.

Вода в чаше между нами стояла прозрачная, как утро. Он не лгал.

Зал к тому времени уже не шумел — он гудел, как пласт под обвалом. Со скамей цеха поднялся мерщик постарше и закричал про устав и про неслыханное; старейшина Бахир, пришедший за меня свидетельствовать и так и не понадобившийся, стоял у дверей с лицом человека, которому показали двухголового верблюда. А Иргена Сольт переждала гул, поднялась и сказала — тепло, звучно, на весь зал:

— Дом Сарран волен в своих жёнах. Но совет песков постановил: невеста лорда должна принести краю воду. Засуха, ваша светлость, не разбирает — по любви брак или по расчёту. У воровки с Донца приданое — долг в девять серебром и тростниковая игла. Цех же, болея за край, предлагал и предлагает дому невесту с четвертью колодцев. Я говорю это не корысти ради, а порядка для: если лорду угодно шутить с судом — воля его. Совет спросит с меня, и я спрошу с совета.

— Совет получит ответ дома к солнцевороту, — сказал лорд. — Что до воды... — Он неторопливо надел перчатку и посмотрел на Иргену тем взглядом, каким смотрят в списки. — Госпожа старшина только что при суде назвала засуху. Занесите в протокол: цех подтверждает, что воды в крае мало. Стало быть, дому Сарран нужна жена, умеющая её находить. Я такую нашёл. На этом суд закрыт.

Он повернулся и вышел — так же, как вошёл, без свиты, неся себя, как полный сосуд. Только теперь я знала, что у него под перчаткой, и знала, что он почувствовал у чаши. Он уходил чуть быстрее, чем пришёл. У людей, которые три года умирают, походка меняется от одного глотка надежды — это некрасивое зрелище и очень человеческое, и я отвела глаза.

Меня не вернули к стене. Ко мне подошла пожилая женщина в ключах — ключей на поясе было столько, что она позвякивала при ходьбе, как сбруя, — оглядела меня с ног до головы и вздохнула так, что стало ясно: видала она невест и получше, но и похуже, честно говоря, тоже видала.

— Сельма, ключница дома, — назвалась она. — Идёмте, госпожа. Или пока не госпожа... пойдём, девушка, не стой. Верёвку с неё снимите, остолопы, с невесты дома-то.

— Мне нужно послать весть в Донце, — сказала я. — Девочке. Она не знает, где я.

— Пошлём, — сказала Сельма. — В этом доме нынче быстро только вести и летают.

Стражник, разрезая верёвку, старался не встречаться со мной глазами. Час назад он вёл меня сюда воровкой. Теперь не знал, как со мной положено обращаться, и от старания дышал ртом. Я его понимала: я тоже не знала.

Уже в дверях я оглянулась. Судейскую чашу уносил писец — бережно, на вытянутых руках, и вода в ней плескала прозрачным. А у цеховых скамей стояла Иргена Сольт и говорила что-то тихое сотнику Даргу и Халуму, и оба слушали, наклонив головы, как наклоняют кувшины.

А у скамей цеха, я видела краем глаза, госпожа Иргена Сольт улыбалась тепло и писала в свою маленькую книжечку — долго, куда дольше прежнего. И мне впервые за это утро стало по-настоящему страшно.

Страшно мне было вот отчего, объясню по-водоносски. Когда торгуешься на рынке и переплатил — теряешь деньги. Когда торгуешься с цехом и выиграл — вот тогда смотри в оба, потому что цех не проигрывает сделок: он их пересчитывает. Сегодня при всём крае лорд забрал у Иргены Сольт добычу прямо из-под перстня, и она улыбалась. Улыбалась и писала. Люди её породы записывают только то, что собираются взыскать.

А ещё — и это я додумывала уже в гулком коридоре, шагая за звенящей Сельмой, — я вспоминала янтарную волну в стеклянной руке. Тепло от чаши с моей мутью. Лорд решил, что нашёл себе живые весы: жену, при которой вода отличает правду от лжи. Расчёт хороший, лучший в его положении. Одного он не знал: весы в этом краю уже были — золотые, в столбе света, — и кто-то сумел их сломать. Я не знала кто. Не знала как. Но у ослиной поилки утром вода мутнела так буднично, так по-хозяйски, будто лгать возле этой крепости давно вошло у кого-то в привычку — и никто, ни один человек в Семи Ключах, не почесался проверить почему.

Весы здесь ломают, дочь Йорама, сказала я себе. Гляди, чтоб не сломали и тебя.

Глава 3. Двенадцать пунктов и один мой

Контракт мне принесли на другое утро — на подносе, как завтрак. Я к тому времени успела выспаться в комнате, где кровать была шире моего огорода, вымыться водой без счёта — это оказалось труднее всего: рука сама останавливала ковш на втором глотке ведра — и переодеться в платье, которое Сельма назвала «простеньким, домашним». В нашей слободе за такое домашнее платье дали бы двух коз и не поморщились.

Контракт был писан на плотной бумаге, цеховой выделки — другой в крае нет, — и в нём было двенадцать пунктов.

Я читаю медленно, но читаю: отец выучил, чтобы цех не обсчитывал нас в списках. Я прочла все двенадцать пунктов дважды, попросила чернил и села переписывать.

Через час в мои покои пришёл лорд Тамир Сарран собственной особой — как я поняла позже, из-за того, что посыльный, взглянув на мои поправки, побоялся нести их сам.

— Вы правите мой контракт, — сказал лорд с порога. Без приветствия. Приветствия у него, как я потом убедилась, выдавались по большим праздникам.

— Я его торгую, ваша светлость. Править — это у писцов.

Он взял листы. Я следила за его лицом и видела, как брови идут вверх — медленно, на каждой поправке по волоску.

Пункт первый в его бумаге гласил: брак заключается по расчёту, во благо края, сроком испытания до летнего солнцеворота, с подтверждением либо расторжением у Солнечной Капли, по обычаю дома. Я оставила его как есть. Только приписала: «расторжение — без взыскания с невесты и её слободы». Мало ли как у них тут принято провожать неподошедших жён — я слыхала про три пропавших невесты где-то на севере, у нас об этом пели песню, и песня была так себе, но запоминалась.

Пункт седьмой гласил: стороны не питают и не выказывают друг к другу чувств, привязанностей и ожиданий сверх писаного. Против этого пункта я поставила галочку и приписала: «поддерживаю обеими руками». Лорд, дойдя до галочки, поднял на меня глаза.

— Обеими руками, — повторил он.

— У вас там дальше, в девятом, сказано, что жена обязуется «являть двору приязнь к супругу». Я вычеркнула. Либо седьмой, либо девятый, ваша светлость. Вместе они не живут: или мы не питаем чувств, или я их являю. Выберите.

— Двор ожидает приязни.

— Двор пусть ожидает. Я вожу воду, а не приязнь, у меня и бочки под неё нет.

Он положил листы на стол. Постоял. Потом сказал — и я впервые услышала, как звучит его голос без судейского железа:

— Продолжайте.

Я продолжила. Пункт о содержании — цифру, от которой у меня накануне пересохло в горле, я урезала вдвое и расписала, куда пойдёт вторая половина: вода слободе Донце, полной мерой, без клятв у чаши, весь срок испытания. Пункт о моих обязанностях — «сопровождать, присутствовать, молчать» — я дополнила словом «искать»: дом получает мой поиск воды, две ночи в неделю, с иглой, законно, с записью в книгах дома. Раз уж меня берут как весы и лозу — пусть это стоит в бумаге, я не желаю быть подарком, я желаю быть наймом. Пункт о после-солнцеворота — «стороны свободны» — я уточнила: вольная мне и Ясме, долг двора Йорама — погашенным, и цеху о том — грамоту с печатью дома, чтоб не пересчитал.

— Кто такая Ясма? — спросил лорд.

— Сирота при мне. Девять лет. Цех вписал её должницей с рождения — за похоронную корзину её матери.

— С рождения, — повторил он. Стекла́нная рука в перчатке лежала на столе неподвижно. — Хорошо. Дальше.

Дальше был мой тринадцатый пункт. Я писала его последним, самым разборчивым почерком, на какой способна.

«Пункт тринадцатый. В доме — полная мера. Стороны не лгут друг другу ни в счетах, ни в словах. Умолчание — не ложь. Ложь — ложь».

Лорд читал его дольше всех остальных, хотя он был короче всех остальных.

— Вы понимаете, что требуете с лорда то, чего не требуют с королей, — сказал он наконец.

— Я не требую, ваша светлость. Я торгуюсь. Вы берёте меня, потому что при мне вода отличает правду от лжи, — не трудитесь возражать, я видела вашу руку у чаши и видела, как вы на неё смотрели. Стало быть, мой товар — правда. А правдой я торгую только в одну сторону. Кто хочет, чтобы при нём вода была честной, тот сам при ней не лжёт. Иначе сделки нет, и вешайте меня цеху обратно.

Он молчал долго. Свет из окна двигался по столу, по его перчатке, по моему тринадцатому пункту. Потом он взял перо и подписал — все поправки разом, не торгуясь ни об одной, и тринадцатый пункт отдельно, с нажимом.

— Ошибка, ваша светлость, — не удержалась я. — На торге нельзя брать первую цену. Я бы уступила в содержании.

— Знаю, — сказал он. — Считайте, что переплата — за тринадцатый пункт. Он стоил бы мне дороже, если б я знал раньше, что такое бывает.

Он пошёл к дверям, у порога остановился.

— Свадьба по расчёту — через три дня, малым чином, у нотариуса и совета. К солнцевороту — подтверждение у Капли, таков обычай дома, и совет от него не отступит... — он помедлил, — несмотря на состояние Капли. До того — вы невеста дома Сарран. Двор будет вас есть. Не как госпожу — как весы, которые внесли в дом, где привыкли обвешивать. Ешьте их в ответ, у вас выйдет. И ещё, дочь Йорама. — Он не обернулся, так и говорил в дверь. — На суде вы солгали один раз. «Не помню». Я запомнил и это, и то, ради кого вы это солгали. Мера принята. Тринадцатый пункт я подписал не глядя не поэтому... но и поэтому.

И вышел. А я сидела над подписанным контрактом и думала, что торговаться я, кажется, умею хуже, чем считала: он оставил за собой последнее слово, а это дороже любой уступки в содержании.

Двор принялся есть меня с того же обеда.

Делалось это, как всё в Семи Ключах, аккуратно. Никто не сказал мне ни одного грубого слова — грубость оставляют бедным. Мне говорили сладкое. Дамы из оазисной знати, съехавшиеся «поздравить дом», ощупывали меня глазами, как верблюдицу на торге, и восхищались вслух, какая я «самородная». Их дочери, все как одна в белых накидках, спрашивали, правда ли, что в слободах пьют из одной чаши со скотом, — им это было «так интересно, так интересно». Пожилой господин из совета песков, представившийся хранителем протокола, любезно объяснил мне за столом, что брак, разумеется, действителен, но совет вправе не подтвердить его у Капли, «поскольку Капля, увы, нас покинула», и тогда всё вернётся на круги своя, — и улыбался при этом так участливо, что я чуть не поблагодарила.

А после обеда меня нашла Тальма Сольт.

Племянница старшины оказалась красивой, как рассветный бархан, — и такой же прибранной: ни песчинки лишней. Белая накидка, золотая сетка на волосах, глаза серые, большие и покойные, как у совсем молодой верблюдицы, которая ещё не знает, что поклажа — это навсегда. Она отослала своих девушек, села напротив меня и минуту молчала, разглядывая мои руки. Руки у меня — верёвочные, со шрамом-серпом на левой ладони, скрывать их я не стала: пусть смотрит, у неё таких не будет.

— Вы отобрали у меня жениха, — сказала она наконец, без злости, как о погоде. — Тётушка растила меня под этот брак четыре года. Меня учили ходить, молчать, наливать воду и рожать наследников дома Сарран. Больше меня не учили ничему. Вы понимаете, что теперь со мной будет?

— Нет, — сказала я честно.

— И я не понимаю, — сказала Тальма. — В этом и дело.

Она встала, поправила накидку и добавила уже от дверей, тихо и очень ровно:

— Тётушка вчера была весела. Весь вечер. Пела за счетами — я слышала через стену. Она поёт, только когда у неё сходится трудный счёт. Я не знаю, что это значит, госпожа водоноска. Но на вашем месте я бы пила из своей фляги.

И ушла — прямая, выученная, пустая, как новый кувшин. Мне стало её жаль, и жалость эта была лишней тратой: у меня самой запасы были не бездонные. Но флягу я с того часа и правда держала при себе.

Из всей крепости по-человечески со мной в те дни заговорил один человек — сотник Гаро, начальник стражи Саррата. Немолодой, квадратный, с сединой в бороде, он остановил меня на переходе, отдал честь по всей форме — мне, водоноске, — и сказал:

— Госпожа. Люди мои будут вас беречь, это служба. А от себя скажу: я из Медянки родом. Отца вашего знал — он наш колодец чинил в голодный год и взял за работу хлебом, хотя цех уже тогда велел брать серебром. Помню. — Он помялся, двинул челюстью. — И ещё скажу, простите за прямоту: брат у меня в долгах у цеха, как полкрая. Так что если при мне будут говорить о цехе — я глухой. А если про вас худое — я глухой наполовину.

— Наполовину — это как?

— Это как выйдет, — сказал Гаро, и в бороде у него шевельнулась усмешка.

Честный человек с должником-братом — это, если кто не понимает, самая надёжная и самая ломкая вещь на свете. Я записала его в своей голове туда же, куда Сельму: не друзья, нет. Но люди. В Саррате люди оказались реже воды.

Фляга, к слову, добралась до меня к вечеру — вместе с Ясмой. Девчонка прошла пешком от Донца до Семи Ключей, полдня по жаре, приплелась к воротам крепости, и стража не знала, что делать с оборванной должницей, которая требует «мою Кенну» и не боится ничего, кроме запаха стекловарен. Сельма привела её ко мне, ворча, что дом превращается в приют, — и по тому, как она по дороге сунула девчонке лепёшку, стало ясно: с ключницей мы уживёмся.

— Ремта выпил всё до дна, — доложила Ясма, вручая мне флягу. — Сказал: за невесту. Там уже все знают. Марта плакала. Бахир сказал: или ты нас всех спасла, или совсем наоборот, и велел не болтать. А ещё... — она понизила голос до заговорщицкого, — по дороге, у третьей чаши, мерщик говорил стражнику, что ведьма окрутила лорда. Про тебя. Вода у них в чаше была — фу-у. Серая.

— Запомни это «фу-у», — сказала я. — И запоминай впредь. Только молча, поняла? Поёшь — только мне.

Она кивнула. Ясму не надо учить молчанию дважды — цех выучил.

Ночью, когда крепость стихла, в мою дверь постучала Сельма — со свечой и с лицом, по которому ничего нельзя было прочесть, а это у разговорчивых людей самый тревожный знак.

Свадьбу малым чином сыграли на третий день, как и было писано. Малый чин — это нотариус, четыре свидетеля от совета, подписи и кольца. Колец у дома Сарран не носят — носят стеклянные обручья, дутые в собственном пламени лорда: обычай велит жениху выдуть их самому, при свидетелях. Я стояла в зале совета и смотрела, как Тамир снимает перчатку, как берёт трубку стеклодува, как из горсти песка, поднятого с пола родовой чаши, под его дыханием и его жаром растёт пузырь света — и как стеклянные жилки на его руке при этой работе бледнеют, будто дар, занятый делом, забывает жрать хозяина. Обручья вышли простые,

чуть зеленоватые, тёплые. Моё село на запястье как влитое — Сельма, гадюка ключевая, успела снять мерку с моей руки, пока я спала.

— По расчёту, — напомнил мне Тамир вполголоса, надевая обручье. Напомнил себе, я думаю, тоже.

— По самому что ни на есть, — подтвердила я. И соврала бы, если б сказала, что у меня при этом не дрогнуло ничего: дрогнуло, у запястья, где тёплое стекло легло на жилу. Но вслух я этого не говорила, стало быть — умолчание, а умолчание по тринадцатому пункту не ложь.

Совет ел пирог и смотрел на нас, как смотрят на сделку с сомнительным векселем. От цеха на свадьбу прибыл подарок — его внесли двое носильщиков: стеклянный сервиз на двенадцать персон, цеховой работы, безупречный, звонкий. К сервизу была карточка, надписанная круглым тёплым почерком: «Молодым — от матери-водицы. Чтобы в доме всегда было из чего пить». Я потом пересмотрела этот сервиз чашку за чашкой, донце за донцем. Ничего. Просто стекло. Просто напоминание, чьё в крае стекло, чья вода и чей счёт.

Ясму на свадьбе кормили в людской, и она уверяла после, что съела девять медовых колец и что это лучший день её жизни. Хоть кому-то сделка далась даром.

— Его светлость велел, — сказала она, — если невесте не спится, показать ей дом. Невесте не спится?

— Невесте не спится, — согласилась я, натягивая платье.

Мы шли вниз. Не вверх, где парадные залы, а вниз — лестницами, выбитыми в оплавленном песке, мимо кладовых, мимо колодезной, всё глубже, и воздух становился прохладнее и суше, и в нём начинал звенеть — не звук даже, а память о звуке, как в пустой стеклянной посуде. Сельма молчала всю дорогу и только перед низкой дверью, окованной бронзой, сказала — тихо, глядя на свечу:

— Он хочет, чтобы вы видели, на ком выходите замуж, дитя. И на чём стоит этот дом. Смотрите молча. Плакать будете наверху — здесь нельзя, здесь сухо.

И открыла дверь.

За дверью был сад. Стеклянный сад дома Сарран, о котором в слободах поют, перевирая всё, кроме главного. Подземный грот, высокий, как храм; со сводов свисали корни древних пальм, оплетённые стеклянными нитями; пол — гладкий, оплавленный, тёплый под босыми ступнями. И по всему саду, в рост, стояли они. Драконы дома. Остекленевшие.

Их было девятнадцать. Мужчины и женщины, старые и молодые, в одеждах разных времён; стекло, в которое они спеклись, было у каждого своё — янтарное, дымчатое, зеленоватое, — и внутри каждого, глубоко, стояла последняя вспышка: у кого свернувшийся дракон, у кого просто свет. Они не были страшными. Они были — как недопитая вода: жалко до злости.

У самого входа, на новом постаменте, ещё не потемневшем, стоял высокий мужчина со скулами Тамира и его прямыми бровями. Стекло его было мутно-зелёным, как штормовое море, и — единственное во всём саду — тронута изнутри тонкой серой копотью, будто дым вошёл в него и не нашёл выхода.

— Лорд Раван, — сказала Сельма одними губами. — Отец. Три года как.

Я обошла сад медленно, как обходят кладбище, где лежат чужие, но хорошие люди. Сельма шла за мной со свечой и говорила — скупно, по слову на постамент. Вот лорд Арзан, прадед: спёкся в девяносто лет, пережив пару на сорок зим, — «долго держался, любовь долго греет». Вот леди Сарая, его сестра: не нашла пары вовсе, ушла в стекло в тридцать. Вот двое близнецов из младшей ветви — этих спекла не тоска, а стеклянная буря, дом такое тоже помнит. А вот пустые постаменты — три, четыре, я насчитала семь: это те, кто пару нашёл. Кто нашёл, объяснила Сельма, тот в сад не встаёт. Тот умирает по-людски, в постели, старым, и его хоронят в песке, как всех, и песок его помнит водой: на могилах драконов, нашедших пару, пробиваются родники.

— Так и стоит край, — сказала Сельма. — Пока дом жив, пески пьют. Драконы Сарран воду под песками не делают, дитя, — они её держат. Как держат крышу. Уйдёт дом в стекло весь — и пласты осядут за десять лет, и будет тут то, что на старых картах зовётся Мёртвой чашей. Цех думает, что можно держать воду списками. Списками можно держать людей. Воду держат живые.

Я слушала и понимала, почему совет песков готов был сватать лорду хоть племянницу цеха, хоть меня, хоть верблюдицу в белой накидке — лишь бы дом не кончился. И понимала, чем на самом деле торговала Иргена Сольт, подводя под стеклющего лорда свою выученную девочку. Не четвертью колодцев. Правом сидеть у изголовья умирающего края и первой взять то, что от него останется.

Я стояла перед мутным стеклом, в котором угадывался дым, и во мне медленно, страшно, по-колодезному глубоко поднималась та самая запнувшаяся мысль из судного зала — про Каплю, про ложь, про принуждение. Я протянула руку — не коснулась, только поднесла ладонь, как подношу к воде, когда слушаю.

И моя фляга — отцовская, полная, на моём боку — качнулась. Вода в ней пошла горечью; я почуяла это сквозь кожу и олово, как чуют дым за три бархана.

Мёртвое стекло не лжёт. Но это — это лгало. Однажды, давно, один раз — и до сих пор не могло остановиться.

— Сельма, — сказала я, и голос у меня сел. — Кто-нибудь спускается отсюда ниже? К Капле?

Свеча в её руке дрогнула — воск плеснул на бронзу.

— Ниже хода нет, — сказала она слишком быстро. И, помолчав: — Для нас — нет.

Мы поднимались назад молча. Уже наверху, у моей двери, Сельма задержала свечу и посмотрела на меня в упор — по-старушечьи, без церемоний.

— Вы что-то услышали там, внизу. Не спорьте, я тридцать лет ключница, я знаю, как выглядят люди, которые слышали. — Она сунула свечу мне в руку. — Так вот, дитя. Услышали — носите молча, пока не поймёте. В этом доме те, кто говорил раньше, чем понял, кончали хуже тех, кто молчал. А поймёте... — она уже уходила по тёмному переходу, и голос её стирался, как след под ветром, — поймёте — скажите ему. Ему одному. Он три года ждёт, сам не зная чего.

Я закрыла дверь, поставила свечу и долго сидела на широкой чужой кровати, держа флягу на коленях. Вода в ней отстоялась и стояла чистая. А горечь я всё равно чуяла — не в воде уже. В доме.

Глава 4. Чёрное солнце

За мной он пришёл сам — на следующую ночь после стеклянного сада, в час, когда крепость спит, а пески ещё отдают тепло.

— Вы писали в контракте: «искать», — сказал лорд Тамир вместо «доброй ночи». — Две ночи в неделю, с записью в книгах дома. Начнём с первой. Идёмте, госпожа Сарран.

К «госпоже Сарран» я не привыкла — оборачивалась, будто за спиной стоит кто-то взрослый. Но пошла. Взяла флягу, иглу мне вернули ещё утром — с описью, под подпись, дом умел в бумаги не хуже цеха.

Я думала, мы пойдём наверх, к конюшням, и поедем в пески. Мы пошли вниз. Той же лестницей, что вчера, мимо той же бронзовой двери сада — и дальше, ниже, ходом, которого я вчера не увидела бы и с фонарём: он открывался не ключом, а голосом. Тамир положил голую стеклянную ладонь на стену, сказал слово — короткое, старое, из тех слов, что старше уставов, — и оплавленный песок разошёлся, как вода перед пловцом.

— Для нас хода нет, — вспомнила я Сельму вслух.

— Для дома — есть, — сказал он. — Ход открывается крови Сарран и... — он запнулся, — и тем, кого кровь ведёт за руку. Дайте руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.